

ИРИНА АНДРИАНОВА

ТРИ ЛИНИИ ОДНОЙ ЖИЗНИ

Ирина Андрианова

Автобиографическая повесть "Три линии одной жизни" Книга 1

<https://litres.ru/74500338>

SelfPub; 2026

Аннотация

Каждый переезд — это маленькая потеря и новое начало. Для Иринки, дочери военного, жизнь — это череда сборов, прощаний и попыток снова почувствовать себя своей в новом месте: от дальневосточного гарнизона до немецкого города, от школьного концерта до первой влюблённости. Переезды проверяют на прочность, но именно они помогают понять, что дом — это не стены, а люди и чувства, которые ты берёшь с собой. Музыка становится её языком, мамины слова — опорой, а каждый новый город — ещё одной страницей взросления. Повесть о том, как судьба складывается из дорог и тех, кто идёт рядом.

Содержание

Глава 1. Запах хвои и скрип снега	4
Глава 2. Первая нота — знакомство с музыкой	8
Глава 3. Крепости из сугробов	13
Глава 4. Два шага по карте	18
Глава 5. Три месяца ожидания	23
Глава 6. Вкус лета в одном глотке	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Автобиографическая повесть "Три линии одной жизни" Книга 1

Глава 1. Запах хвои и скрип снега

Всё началось в 1976м, на Дальнем Востоке, в Амурской области. В тот год отца перевели на службу в военный гарнизон Орловка — небольшой огороженный городок, будто спрятанный от остального мира. Всего шесть пятиэтажек, клуб, магазин да офицерская столовая.

Каждое утро нас, детей военных, возили на занятия в село за пять километров — в тесных кунгах, где пахло железом и холодом, а на поворотах мы держались друг за друга, чтобы не упасть. Дорога шла через лес, и в кунге было тесно и шумно: кто-то смеялся, кто-то тихо напевал, а кто-то просто смотрел в щель между бортом и тентом, стараясь запомнить, как мелькают за окном стволы сосен, как меняется свет, когда мы выезжаем из тени на поляну и снова ныряем в лес. Пять километров туда, пять обратно — и каждый день немного одинаковый, но никогда не скучный, потому что лес каждый раз был другим.

Край был суровый, позимнему строгий, с ветром, который

пробирался под воротник и не давал забыть, что тут природа решает всё. Зима наступала рано и держалась долго — настоящая, глубокая, с сугробами до подоконников первого этажа и таким морозом, от которого щипало щёки.

А лето было коротким и щедрым: грибы и ягоды росли так, будто хотели успеть отдать всё за эти несколько тёплых недель. Сосновый лес стоял плотной стеной, и воздух был такой чистый, что от него чуть кружилась голова. Тишина казалась не пустотой, а чемто настоящим, наполненным: в ней слышно было, как падает шишка, как скрипнет ветка, как далеко-далеко проедет машина и стихнет.

Отец каждый день уходил на службу рано, когда небо ещё было тёмносиним, а возвращался поздно вечером, часто уже после того, как я засыпала. Бывало, ночью по тревоге он быстро собирался и снова уходил — и тогда мы с мамой оставались дома одни, сидели тихо и ждали его после полётов. Мама не показывала тревоги: она заваривала чай, доставала варенье из голубики и рассказывала мне истории, чтобы время шло быстрее. И в эти минуты дом становился особенно тёплым — не от титана, а от её спокойствия, от того, как она умела держать мир ровно, пока снаружи всё решали ветер и служба.

Несмотря на все сложности, родители были молоды и счастливы. Отец — строгий на службе, а дома тихий и внимательный; мама — будто держала в себе весь свет этого места. Они были удивительно гостеприимны: многие праздни-

ки в нашем доме собирались гости — друзья отца и их жёны. В комнате становилось тесно, пахло пирогами и морозным воздухом с улицы, кто-то приносил гитару, и вечер шёл легко, с разговорами, смехом и песнями.

Я любила эти вечера за то, что дом будто становился больше: голоса сливались, стулья сдвигали к столу, на кухне звенели чашки, и даже коридор, обычно тихий и строгий, наполнялся шагами и шёпотом. Взрослые говорили о службе, о полётах, о том, как ветер рвёт тенты на стоянках, а женщины тихо переговаривались о своих делах, иногда хитро подмигивали друг другу и шептали: «А ты попробуй вот этот рецепт...»

Был у этих посиделок свой особый ритуал — тот самый напиток, который все называли «шпагой». Взрослые улыбались и говорили: «Это авиационный дух, только приручённый». У каждой хозяйки был свой секрет, и все охотно делились рецептами, будто это был особый язык дружбы: «Попробуй вот эту, с чабрецом и мёдом — она мягче», «А у меня на лимонной корке, с гвоздикой — сразу тепло по всему телу идёт».

Я, конечно, ничего не пробовала — мне наливали только чай с вареньем. Но я любила смотреть, как взрослые чуть склоняют головы, пробуя новый вариант, как они кивают, причмокивают и говорят: «Да, это хорошо. Это по-нашему». В этом тоже была своя забота: не просто посидеть вместе, а сделать так, чтобы каждому стало чуть теплее в этом холод-

ном краю.

Здесь, среди тишины и ветра, прошло моё детство. Здесь я окончила начальную школу и впервые услышала, как клавиши отзываются на прикосновение: в гарнизоне работала маленькая музыкальная студия, и я бегала туда после уроков, стараясь не опоздать, потому что музыка в этом месте звучала особенно — будто в ней пряталось всё тепло, которого так не хватало за окнами. Клавиши были чуть прохладные, и когда я нажимала на них, мне казалось, что я не играю, а разговариваю с кем-то, кто понимает без слов.

Эти мгновения остались со мной: будто они не растворились во времени, а лежали где-то в углу комнаты, как старые тёплые вещи, к которым всегда можно прикоснуться. И если закрыть глаза, я до сих пор чувствую запах хвои, слышу скрип снега под валенками и вижу, как солнце ложится на крыши пятиэтажек — будто обещает, что даже в самом дальнем уголке можно найти свой дом.

Глава 2. Первая нота — знакомство с музыкой

Я часто думаю, что детство в гарнизоне было похоже на старую чёрнобелую плёнку: кадры мелькают, одни чуть смазаны, другие — резкие, до хруста. И среди этих кадров есть один, который всегда проявляется чётко, будто его специально подсвечивают: дверь в музыкальную студию. Узкая, с облупившейся краской, с табличкой «Музыкальный класс», где буква «М» чуть съехала вниз. За этой дверью пахло пылью, лаком от пианино и чем-то ещё — тишиной, которая не давит, а обнимает.

Дверь скрипнула, и я замерла на секунду, боясь, что сейчас ктонибудь скажет: «Тебе сюда рано, иди поиграй во дворе». Но никто не сказал. Преподавательница, Татьяна Ивановна, только кивнула: «Проходи, садись. Хочешь попробовать, потрогать клавиши?»

Я хотела, но боялась. До дрожи.

Клавиши были прохладными, как я помню, и чуть шершавыми — будто пианино успело пожить свою долгую жизнь до того, как я пришла. Я осторожно коснулась одной — белой, посередине. Звук вышел тонкий, но уверенный, будто сказал: «Привет! Я здесь. Теперь ты не одна».

Татьяна Ивановна улыбнулась: «Не бойся. Пианино не ру-

гается, если ошибаешься. Оно просто ждёт, когда ты найдёшь свою ноту».

И я начала искать. Сначала нажимала наугад, слушала, как звуки спорят друг с другом, потом пыталась повторить простую мелодию, которую напевала мама: три ноты, потом ещё три. Пальцы путались, сбивались, я сердилась на себя, но в груди становилось теплее, будто внутри зажигали маленькую лампу. А в голове сами собой складывались строчки, словно кто-то подсказывал их шёпотом:

«Пусть метель поёт за окном,
Ждёт нас тихий, тёплый дом.
Клавиша шепчет мне: Не спеши,
Музыка касается души».

В тот день я не сыграла ничего красивого. Но я впервые поняла, что тишина бывает разной: есть та, что висит в пустом коридоре, когда все ушли, а есть та, что живёт внутри музыки — она ждёт, пока её разбудят.

А потом за окном хрустнул снег, и в студию заглянула мама — в пуховике, с шарфом, намотанным так, что видно было только глаза. «Ну что, нашла свою ноту?» — спросила она, и в голосе её было столько тихого счастья, что мне захотелось ответить: «Да», даже если это была неправда. Мне тогда и в голову не приходило, но позже я поняла: именно эта нота станет моей путеводной звездой в мир искусства и профессионального творчества.

После занятия мы шли домой, и снег скрипел под валенка-

ми, а небо было таким низким и близким, что казалось, можно достать рукой. Я всё ещё чувствовала прохладные клавиши под пальцами и думала: пусть зима будет долгой, пусть сугробы растут до подоконников, пусть ветер воет за стенами — внутри меня теперь есть место, где тихо и светло.

Но дома было пусто. Отец снова ушёл по тревоге, и мы с мамой привычно устроились ждать: она заварила чай, достала варенье. В комнате пахло горячими пирожками и мамиными духами, и даже пустота становилась не страшной, а почти уютной — потому что мы были вместе.

Мама села рядом, подоткнула мне плед и тихо сказала: «Знаешь, когда папа на службе, самое важное — чтобы тут всё было спокойно. Чтобы дома было тепло и чтобы ты научилась слышать только хорошие звуки. Вот как сегодня на уроке у Татьяны Ивановны, когда ты искала на клавишах свою ноту».

Я кивнула, хотя не до конца понимала, что мама хотела донести до моего сознания. Но потом вдруг поняла: музыка умеет говорить без слов: «Не бойся, я рядом. Всё будет в порядке». И снова в голове всплыли строчки, будто сами просились наружу:

«Снег ложится на крыши и стынет,

Но в груди огонёк не остынет.

Пусть летит самолёт над тайгой,

Мы помашем вслед ему рукой».

Мы посидели так, слушая, как тикают часы, как потрески-

вает батарея, как где-то далеко проехала машина и затихла. И мне стало казаться, что если собрать все эти звуки вместе, то получится своя особенная мелодия — наша, домашняя, про ожидание и про то, что всё обязательно вернётся.

Когда отец наконец пришёл, усталый, с запахом мороза и аэродрома, я бросилась к нему, уткнулась в шинель, а он погладил меня по голове и тихо сказал: «Ну вот. Теперь всё на своих местах». И правда: дом снова стал целым.

А пианино в студии будто ждало меня — тихое, чуть задумчивое, как старый друг, который не торопит, а просто сидит рядом и даёт время собраться с мыслями. Оно ждало, как ждёт рассвета замёрзшее окно — не шевелясь, не торопясь, покрытое тонким узором, в котором прячется целый мир.

Теперь я знала: у меня есть свой звук и своя нота. И я научусь её держать — крепко, как мамину ладонь, когда мы идём по скрипучему снегу, и в то же время осторожно, как держат в ладонях первую весеннюю капельку, чтобы не расплескать.

Эта нота была как след на свежем снегу — чёткий, одинокий, но от него расходились круги, будто весь мир тихо откликнулся. И пусть за стенами гарнизона ветер гнал по двору сухие еловые иголки и свистел в щелях, а небо становилось всё серее — внутри меня теперь жила маленькая мелодия. Она была тише ветра, тише шагов в пустом коридоре, но она была настоящей.

И если прислушаться, её можно было услышать даже сквозь гул аэродрома и далёкие команды военачальников. Эта нота станет моим якорем: если мир вдруг станет слишком большим и холодным, я вернусь к ней, как возвращаются к свету в тёмной комнате. Пусть снаружи всё меняется — зима сменяется весной, самолёты уходят в небо, а люди становятся старше, — но где-то внутри будет звучать этот тихий, уверенный звук: я здесь, я учусь, я справляюсь.

Глава 3. Крепости из сугробов

День в Орловке начинался как всегда: с мороза, который щипал щёки ещё на лестничной площадке, и с торопливого стука в дверь напротив. Андрей. Он всегда появлялся ровно тогда, когда я застёгивала последнюю пуговицу на пальто.

— Иринка, слушай, тут по математике, — выдыхал он, влетая в коридор, будто боялся опоздать хоть на минуту. — Тут задача про поезда, а я никак не пойму, куда они едут.

Я улыбалась. С Андреем всё становилось проще: даже самые запутанные примеры вдруг раскладывались по полочкам, если объяснять их на чём-то понятном — на снежках, на расстоянии от нашего подъезда до клуба, на том, сколько минут ехать до школы в кунге. Мы делали уроки быстро, будто это была игра: кто быстрее найдёт ответ, кто придумает самую смешную историю к условию. А потом мы прятали тетради под стопку книг, надевали варежки и выскакивали во двор. Там всё было настоящим приключением: сугробы превращались в крепости, сухие ветки — в мечи, а скрип снега под ногами — в музыку, которую мы сами себе напевали. Андрей был тем самым другом, с которым даже обычное хождение по обледенелым дорожкам становилось путешествием.

А вечерами, когда мороз уже загонял всех по домам, Андрей прибегал снова — но уже не за помощью по математи-

ке. Он садился на старый стул у пианино, складывал руки на коленях, будто боялся нарушить эту тишину, и смотрел на мои пальцы так, будто в каждом движении была какая-то великая тайна.

— Сыграй ту, — просил он шёпотом, — ну, ту, про снег, только тёплый.

И я играла. Не идеально, пальцы иногда путались, но Андрей слушал так внимательно, что любая ошибка казалась не промахом, а частью мелодии. Для него каждая моя нота была важной.

— Ты обязательно сыграешь на концерте, — говорил он, когда я в сотый раз останавливалась на одном и том же месте. — Вот увидишь. Все будут сидеть и слушать, а ты будешь играть, и никто даже не подумает, что ты волнуешься. Потому что ты умеешь делать так, что становится красиво.

Я не очень верила. Но его вера была такой крепкой, что в неё хотелось верить.

Концерт в офицерском клубе стал событием для всего гарнизона. И чем ближе подходил день выступления, тем чаще я замечала, как мама будто старается не показывать, что волнуется. Она двигалась по дому чуть тише обычного, то поправит складку, то ещё раз посмотрит на бант, будто от этого зависело, всё ли сегодня будет хорошо. Иногда я ловила её взгляд — он был тёплым, но в нём мелькала эта самая мамина тревога: «А вдруг ей будет страшно? А вдруг она забудет ноты?»

Но вслух она никогда не говорила ничего, что могло бы добавить мне страха. Наоборот. В тот вечер, накануне концерта, она села рядом, взяла мои руки в свои — они были чуть шершавыми от стирки и горячей воды, но такими надёжными — и сказала тихо:

— Знаешь, когда мне было страшно, бабушка всегда говорила: «Не старайся быть лучше всех. Просто будь собой». Не пытайся сыграть так, будто ты взрослая артистка. Сыграй так, как умеешь ты. Твой звук сразу узнают. В нём всё твоё: и как ты волнуешься, и как стараешься, и как эту мелодию любишь. Вот это и есть самое ценное. Ты столько раз играла эту пьесу, что она уже живёт в твоих пальцах. Пусть они сами её найдут, даже если голова немножко растеряется.

Я кивнула, хотя внутри всё сжималось.

— И ещё, — добавила мама, чуть улыбнувшись, — если станет совсем страшно, найди в зале когото одного, кому хочется сыграть. Хоть меня, хоть Андрея. Представь, что ты играешь только для нас. Тогда сцена перестанет быть огромной, а станет просто комнатой, где звучит твоя музыка.

Эти слова я держала в голове, как маленький тёплый камешек.

Наступил день концерта. Зал не был большим, но казался огромным: ряды стульев, выстроенные ровно, как на построении, запах горячего чая из буфета, приглушённый свет и сцена — высокая, будто целая другая страна. На сцене стояло то самое пианино, которое я знала до каждой щербинки.

Только здесь, под софитами, оно выглядело совсем иначе — торжественно и немного строго.

Меня объявили. Голос из динамика прозвучал так громко, что на секунду мне показалось, будто он забрал весь воздух в зале. Я поднялась по ступенькам, чувствуя, как дрожат коленки, села на табурет, поправила платье, которое мама специально подшила к этому дню, и положила пальцы на клавиши.

В зале затихли. Даже скрип стула где-то в третьем ряду стал слышен так отчётливо, будто кто-то специально хотел напомнить: ты не одна, тут все свои.

Я закрыла глаза на одну секунду. Вспомнила мамины слова про «свой голос». Вспомнила, как Андрей шептал: «Просто сыграй ту, которая про тёплый снег». Вспомнила тот первый день в студии, когда Татьяна Ивановна сказала: «Пианино не ругается, если ошибаешься».

И начала.

Первые ноты вышли робкими, будто прощупывали дорогу. Но потом мелодия пошла вперёд, как будто вспомнила сама себя. Пальцы уже не путались — они просто делали то, чему научились за эти месяцы: находили нужные клавиши, держали ритм, не давали мелодии рассыпаться.

Пьеса была не из трудных, я её столько раз играла, что пальцы сами знали, куда нажимать. Но для меня она была целой историей: про зиму, про ожидание отца, про скрип снега, про тепло маминого чая, про Андрея, который всегда при-

бегают с вопросами и слушает, затаив дыхание.

Когда я доиграла последнюю ноту, в зале на мгновение повисла тишина. Та самая, особенная, когда все боится спугнуть только что родившуюся красоту. А потом зал взорвался аплодисментами. Они звучали не как шум, а как признание. Ты смогла, ты была настоящей.

Я встала, чуть поклонилась, чувствуя, как горят щёки, и посмотрела в зал. И сразу нашла Андрея — он хлопал громче всех, сияя так, будто это он сам только что сыграл. Рядом с ним сидела мама. Она не хлопала — она просто смотрела на меня, и в её глазах было столько света, столько тихого, глубокого счастья, что мне захотелось запомнить это мгновение навсегда. В нём не было ни тревоги, ни страха, только гордость и любовь.

Спускаясь со сцены, я вдруг поняла: музыка — это не только про клавиши и ноты. Это про тех, кто ждёт тебя у двери, кто просит сыграть «ту самую», кто верит в тебя даже тогда, когда ты сама сомневаешься. И про тех, кто тихо говорит нужные слова, когда тебе больше всего нужна опора.

Дома, уже поздно, когда гарнизон затих и только редкие фонари горели во дворах, мы с Андреем сидели на нашей лестничной площадке, ели печенье с вареньем и тихо, почти шёпотом, напевали ту самую мелодию — ту, что я сыграла на сцене. И в этом тихом дуэте было столько счастья, что казалось, даже мороз за окном чуть отступил, чтобы не мешать.

Глава 4. Два шага по карте

Приказ пришёл в конце мая, когда гарнизон будто сам готовился к переменам: снег уже не лежал плотными сугробами, а сбивался в серые комья по углам дворов, солнце светило по-другому — не по-зимнему, а так, будто торопило время. Отец принёс конверт, положил на стол, и в комнате сразу стало тише, чем обычно. Даже батарея, которая всю зиму потрескивала и вздыхала, будто замерла.

— Нас переводят, — тихо сказал отец, будто боялся спугнуть привычный уклад, который столько лет держался на одних и тех же маршрутах: дом — школа — клуб — обратно.

— Германия. Далеко. — Отец помолчал. — Два шага по карте... А по жизни будто целая вечность. Будто не просто город меняем, а целую жизнь.

Я тогда не очень понимала про «два шага по карте». Для меня это было не на соседней улице, не в соседнем городе, а там, где всё чужое: язык, деревья, небо, даже запах улицы. И главное — там не будет Андрея на лестничной площадке, не будет кунга, в котором мы хохотали на поворотах, не будет той самой музыкальной студии с облупившейся дверью и пианино, которое ждало меня.

Мама молча достала коробки. Несуетливо, как перед пикником, а медленно, бережно — будто с каждой вещью нужно попрощаться, прежде чем спрятать её в коробку. Она заво-

рачивала чашки в газеты, и я видела, как она на секунду задерживает пальцы на ручке любимой кружки — той самой, из которой пила чай, когда ждала отца после полётов.

А я стояла у окна и смотрела на наш двор. Он был всё тот же: те же пять пятиэтажек, те же сосны, те же тропинки, протоптанные за зиму. Теперь эти тропинки казались следами, которые вот-вот затянет трава. И мне вдруг стало страшно, что скоро никто и не вспомнит, что тут бегала Иринка с Андреем, что они строили здесь снежные крепости и спорили, кто быстрее добежит до угла.

В тот вечер Андрей пришёл, как всегда, без стука — просто приоткрыл дверь и замер на пороге, будто почувствовал: что-то изменилось.

— А правда, что ты уезжаешь? — спросил он, не глядя на меня, разглядывая свои ботинки так старательно, будто на шнурке было написано самое главное, что он хотел сказать.

Я кивнула. Слова не шли. Хотелось сказать что-то большое и правильное, чтобы он понял, как мне жаль, что мы не сможем вместе идти в пятый класс, не сможем снова решать задачи про поезда и строить крепости. Но вместо этого я просто сказала:

— Правда.

Андрей помолчал, потом вдруг выпалил:

— Тогда сыграй. Сыграй ту, про тёплый снег. Пусть она останется тут. Я буду её помнить.

И я сыграла. Пальцы дрожали, и мелодия выходила неров-

ной, дрожащей, не такой уверенной, как на концерте. Но в ней звучало что-то новое — будто она хотела обнять этот дом, эту комнату, этого мальчика на стуле, который сидел, сжав кулаки, чтобы не заплакать.

Когда я доиграла, Андрей долго не поднимал глаз, а потом сказал:

— Я буду писать. И ты пиши. И если там, в Германии, будет пианино, ты обязательно сыграешь. И расскажешь мне, какое оно.

Мы обнялись у двери, неловко, по-детски, будто боялись разжать руки. И когда дверь закрылась, я поняла: это было последнее «как всегда».

На следующий день в школе устроили маленький прощальный утренник. Мне подарили альбом с надписью: «Иринке — чтобы не забывала». Я листала его, а на глазах стояли слёзы: там были рисунки, записки, чьи-то смешные подписи, и каждая строчка была как маленький якорь, который держал меня в этом месте.

А моя преподавательница по фортепиано Татьяна Ивановна обняла меня крепко, как мама, и сказала:

— Музыка не живёт в одном пианино. Она живёт в твоих пальцах. Куда бы ты ни поехала, ты сможешь найти свой звук. Главное — не переставай его искать.

К концу недели коробки заполнили комнату, и дом стал чужим раньше, чем мы из него уехали. В последний вечер мы с мамой сидели на полу среди свёртков и пакетов, пили

чай из термоса — потому что чайник уже упаковали — и смотрели, как садится солнце за крыши пятиэтажек.

— Знаешь, что самое трудное в жизни семьи военного? — тихо сказала мама. — Не переезды. Не коробки. А то, что приходится отпускать. Но зато ты учишься держаться за самое главное. А оно в коробку не поместится.

Я прижалась к её плечу, чувствуя, как дрожит её рука, и поняла: она тоже боится нового. Боится, что там, в чужой стране, я буду чувствовать себя одинокой. Но она не показывала этого страха. Только держала меня крепче обычного.

Утром мы уезжали. Кунг, который столько раз возил нас в школу, теперь вёз нас на вокзал. Андрей стоял у подъезда, махал, пока мы не скрылись за поворотом, и мне казалось, что если я обернусь ещё раз, то увижу, как он всё ещё стоит там, смотрит вслед и шепчет: «Пиши. Помни.»

Поезд тронулся, и за окном поплыли знакомые сосны, знакомые поляны, знакомые тропинки. Я смотрела, как они исчезают, и чувствовала, как внутри что-то сжимается от боли и от предвкушения.

Да, было горько. Горько до слёз. Но когда я смотрела, как сосны за окном медленно скользили мимо, во мне вдруг шевельнулось другое чувство — не радость, нет, а какое-то тихое ожидание: будто впереди ждёт что-то важное, будто новая страна, новая школа, новые друзья — это не конец, а начало другой мелодии, которую мне ещё только предстоит сыграть. И когда поезд набрал ход, я закрыла глаза и тихо

прошептала те самые строчки, которые когда-то придумала
про клавиши:

«Пусть метель поёт за окном,

Ждёт нас тихий, тёплый дом.

Клавиша шепчет мне: «Не спеши»,

Музыка касается души».

Пусть эти строки едут со мной.

Глава 5. Три месяца ожидания

Пахло вокзальным кофе, пылью чемоданов и чем-то горьким, как ожидание. Мы с мамой не уехали сразу вслед за отцом: приказ о переводе пришёл быстро, а документы тянулись медленно. В мамином паспорте и в её свидетельстве о рождении обнаружили расхождения в имени — в одном стояло «Инна», в другом — «Нина». Для обычного человека это едва заметная деталь, но для семьи военного, уезжающей за границу, такая мелочь становилась непреодолимым препятствием.

Так мы оказались в Саратове, в квартире бабушки и дедушки. Три месяца — срок, который звучит коротко, а тянется, будто резинку тянут до предела. Город был совсем другим, не похожим на наш гарнизон. Дома стояли плотнее, улицы шумели громче, а люди спешили, не поднимая глаз. Я чувствовала себя здесь не злой чужой, а просто временной — будто меня поставили в угол комнаты на время ремонта: «Постой тут, пока не решим, куда тебя поставить».

В новой школе ко мне отнеслись ровно: без вражды, но и без тепла. Классная руководительница, строгая женщина в тонких очках, смотрела на меня с любопытством, как на экспонат из далёкой страны. На переменах она усаживала меня в уголке учительской и просила:

— Расскажи ещё про этот ваш гарнизон. Про сирену. Ты

говорила, она выла, когда объявляли тревогу?

И я рассказывала, как этот вой рвал тишину, заставлял всех на секунду замирать, а потом бежать по своим местам. Как он становился частью жизни, привыкал и переставал пугать. А она всё просила:

— А можешь показать, как это звучало? Ну хоть голосом.

Мне было неловко. Я пыталась изобразить звук не визгливо, а так, как он жил в памяти — низкий, нарастающий, будто земля под ногами чуть дрожит. Одноклассники собирались вокруг и смотрели на меня, как на девочку из фильма, который они не досмотрели. Для них это была история. Для меня — моя жизнь.

Друзей в классе я не завела. Никто не отталкивал, но и не тянул к себе: все знали, что я тут временно. Скоро документы исправят, придёт вызов, и я уеду туда, где небо другое и деревья растут иначе. И в этом «временно» было что-то, что мешало протянуть руку и сказать: «Давай дружить».

Ещё тяжелее давалась музыкальная школа. Преподавательница смотрела на мои пальцы так, будто они по своей природе делали что-то не то. Она требовала чёткости, строгости, «академической посадки», а я привыкла к словам Татьяны Ивановны: «Сначала почувствуй, потом сыграй». Здесь чувство было лишним — клавиши должны были звучать, как метроном.

Я занималась с неохотой, но занималась. Не чтобы понравиться, а чтобы пальцы не забыли, как быть моими. Чтобы,

когда я снова сяду за пианино в новом месте, они не растерялись и не стали чужими.

Но были и светлые дни — их дарили мои двоюродные сёстры, Светлана и Татьяна. Раньше мы болтали только по телефону, и эти разговоры были как картинки: яркие, но плоские. Теперь я видела, как Света морщит нос, когда смеётся, и как Таня прячет в карман конфету, чтобы съесть её позже, когда никто не видит. Мы бегали по двору и придумывали игры, которым не нужны были правила — только смех.

А ещё был дед. Участник войны, он редко говорил про фронт, но умел рассказывать про мир: как важно вовремя съесть мороженое, как правильно прятаться от дождя под одним зонтом втроём, как слушать, когда кто-то молчит. У него болело сердце, и бабушка всё время напоминала: «Не гони, не беги, не поднимай тяжёлое». Но стоило нам появиться, как дед будто забывал про боль. Он играл с нами в прятки, хотя прятаться ему было негде — он был слишком заметным, слишком родным. Каждый раз, когда мы находили его за шкафом или за занавеской, он делал вид, что очень удивлён, и тут же доставал из холодильника по мороженому.

— Это секретный запас, — шептал он, подмигивая. — Только для тех, кто умеет искать.

Эти минуты были островками, на которых можно было выдохнуть.

Три месяца тянулись, но всё же кончились. Документы на-

конец привели в порядок: имя стало одинаковым во всех бумагах. И однажды утром пришёл вызов: «Следовать к месту службы мужа, город Мерзебург, Германия».

Мы собирали вещи не торопясь, будто прощались не только с квартирой, а с этим временем — с неловкостью, одиночеством, играми во дворе, мороженым от деда. Бабушка складывала в сумку пирожки «в дорогу», мама собирала чемоданы. В день отъезда дед стоял у окна, смотрел нам вслед и махал рукой, пока мы садились в такси. Я знала: он не пойдёт провожать, чтобы не было тяжелее.

Путь был долгим. Сначала поезд до Бреста: вагон качался, за окном мелькали поля, леса, станции с короткими названиями, которые я старалась запомнить, будто они могли пригодиться. Потом — таможня: долгие минуты, когда казалось, что весь мир замер и ждёт, пока кто-то поставит печать. А после — пересадка, новый поезд, дорога дальше, к неведомому миру.

Я смотрела в окно и думала: впереди будет отец, новая страна, город с незнакомым именем и сцена, на которой мне снова придётся учиться звучать поновому. Но теперь я знала: даже если вокруг всё чужое, если никто не ждёт и не улыбается, внутри меня есть тот самый тихий звук, который говорит: «Я тут. Я не сдаюсь». И этого пока было достаточно.

Глава 6. Вкус лета в одном глотке

Граница. Мы проехали её по пути через Польшу, и я впервые поняла, что значит слово «чужбина» — не как что-то далёкое и страшное, а как просто «не своё». За окном поезда всё было другим — и при этом удивительно спокойным. Аккуратные домики с крышами из черепицы, не из серого шифера, как у нас в Союзе. Ни покосившихся заборов, ни облезлых стен — всё ровное, чистое, будто кто-то каждое утро выходил и проверял, нет ли где пятнышка.

И не было суеты. Ни спешки, ни толкотни, ни криков. Всё шло размеренно, будто у времени здесь был другой ритм. Даже воздух пах иначе — не дымом и пылью, а свежестью и чем-то ещё, чему я тогда не знала названия.

Поезд прибыл в Галле. Отец ждал нас на вокзале. Он стоял у выхода, в своей форме, чуть выше остальных, и когда я увидела его, ноги сами побежали, а рюкзак подпрыгивал на спине и стучал по лопаткам. Мы обнялись, и в этом объятии было столько «наконец-то», что всё остальное — дорога, ожидание, чужие вокзалы — сразу стало просто путём, который привёл нас сюда.

До Мерзебурга мы добирались на трамвае. Для меня это было чудом: оказывается, можно просто сесть и поехать в другой город, будто это самое обычное дело. Люди занимали только сидячие места — стоять в трамвае было не принято.

Если мест не хватало, немцы спокойно ждали следующего. Никто не толкался, не ворчал, не старался пролезть вперёд. Трамвай ходил по расписанию: время было указано на каждой остановке, и он приезжал ровно тогда, когда обещал.

Когда мы выходили, я машинально сжала в руке билетик. А потом увидела, как все вокруг опускают их в урну у остановки. Тут просто невозможно было бросить бумажку на асфальт. Асфальт был ровным, без ям, без трещин, будто его только вчера положили. Рядом с тротуарами тянулись велосипедные дорожки, и по ним ездили все: и молодые, и пожилые. У многих на велосипедах были корзинки, куда они складывали покупки.

Отец улыбнулся, увидев, как я всё это разглядываю.

— Привыкнешь, — тихо сказал он. — Тут всё необычно, всё устроено так, чтобы жить было удобно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.